

„ЕГОРЬЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ“

Е. Макаров-Зареченец. ★



В. МАКАРОВ-ЗАРЕЧЕНЕЦ  
„ЕГОРЬЕВСКИЕ  
КАВАЛЕРЫ“

G

3 РУБ. 50 КОП.

V.N. Karazin Kharkiv National University



0065617

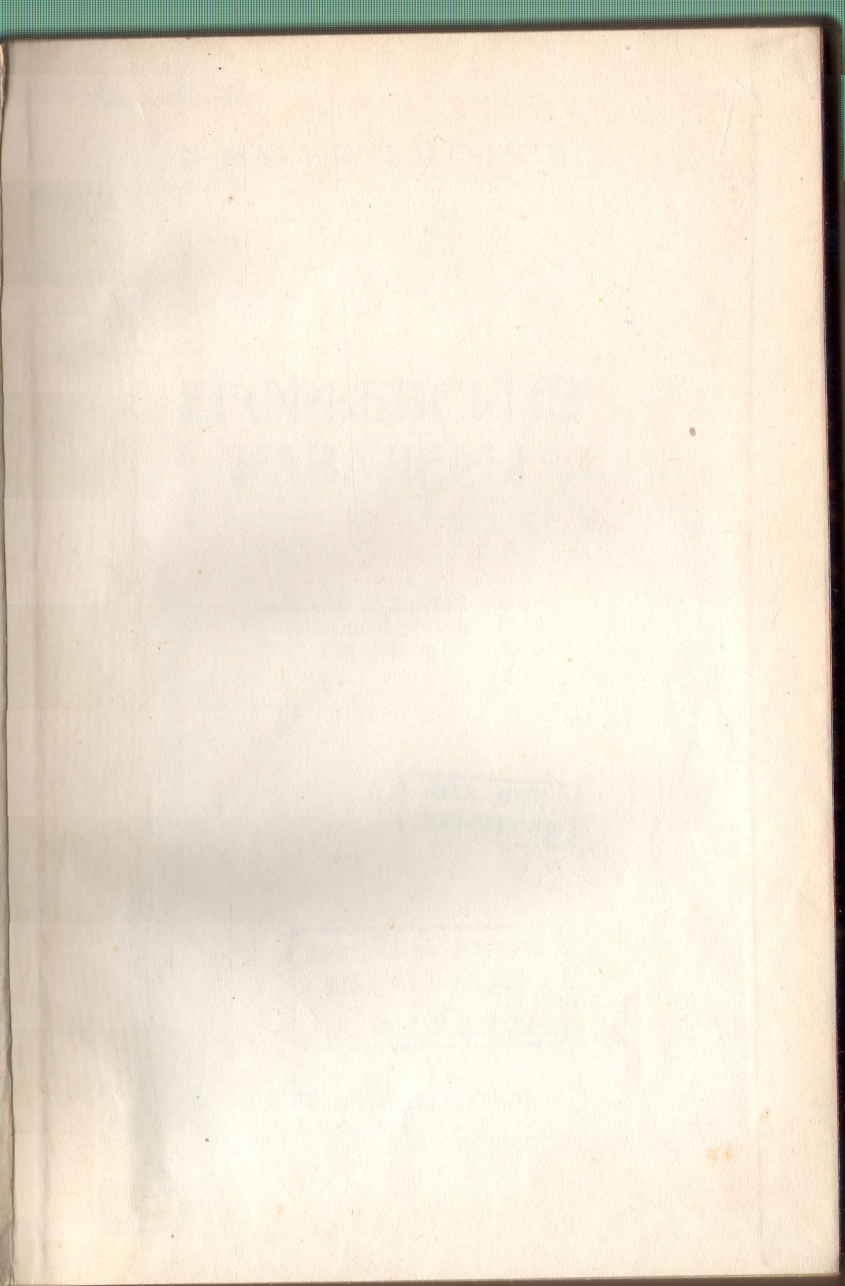
4



1) 8с

2) Тематич -

Война 1914-18гг.



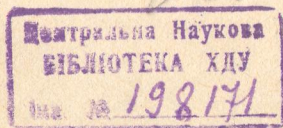
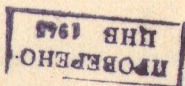


T

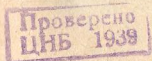
M-152, 3.e  
В. МАКАРОВ-ЗАРЕЧЕНЕЦ

# ЕГОРЬЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ

ЗАПИСКИ ПУЛЕМЕТЧИКА  
МИРОВОЙ ВОЙНЫ  
1914—1918 гг.



58  
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
МОСКВА—1939





M-15

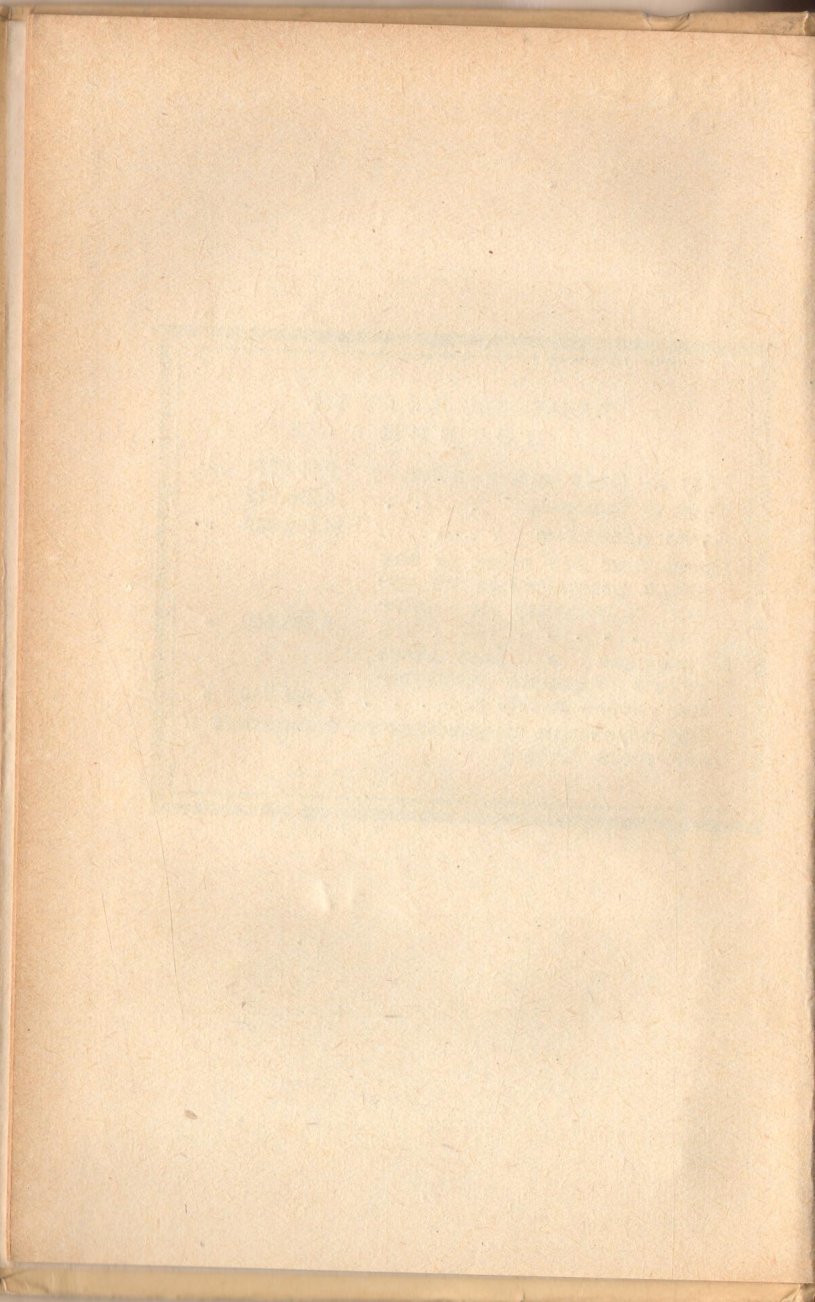
THE 1977  
PROBATION

# НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ИТОГИ П О Т Е Р И

|                                                                                                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Убитые (зарегистрированные)                                                                       | 9.998.771 чел. |
| Тяжело раненные . . . . .                                                                         | 6.295.512 »    |
| Легко раненные . . . . .                                                                          | 14.002.039 »   |
| Пропавшие без вести (в том<br>числе разорванные на ку-<br>ски снарядами) и плен-<br>ные . . . . . | 5.983.600 »    |
| Возникшая в результате<br>войны эпидемия инфлуэн-<br>цы унесла в 1918 г. . . . .                  | 10.000.000 »   |

(По подсчетам американского статистика и  
экономиста Чэйза)





## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1

Над рекой плывут молочно-серебристые туманы. Тихо. Еще слышно шумят тополя над обрывом. Свежо. Где-то поют петухи. Проснулись птицы. Легкий ветерок пробегает по вершинам деревьев, сбрасывая с листьев свежие бусинки росы...

Время — пять часов. Встало солнце. Вот оно, разрывая туманы, взрезая облака и тучки, выплыло из-за горизонта и пошло выше, дальше — яркое, сверкающее, спокойное.

Плывет солнце, а над серыми корпусами Эн-ского завода поднялся белый барашек пара. Заречье проснулось, встречая рождение дня гудками заводов.

...Под окном моей квартиры замаячила чья-то замасленная кепка. По стеклу забарабанили два пальца:

— Эй, ушел, что ли?

Я вышел. У ворот стоял мой товарищ по работе, который каждое утро заходил за мной и мы вместе отправлялись на завод.

Поздоровались. Но сегодня, вместо обычного: «С добрым утром», товарищ надвинул на глаза



козырек своей кепки, нахмурился и, попыхивая огоньком папиросы, угрюмо спросил:

— Слышал новость-то?

— Нет. А что?

— А вон гляди...

...На углу стоял наш знакомый старичок Андреич, который каждое утро расклеивал по заборам Заречья афиши.

Около Андреича народ. Андреич сегодня мрачный, угрюмый.

— Ты что, старик?

Не ответил. Вздохнув, он ткнул кистью в ведро, где у него был клейстер, помазал им забор, развернул большую желтую афишу, прилепил ее и сокрушенно махнул рукой:

— Вот, глядите.

Я протискался вперед. Начал читать.

#### Высочайший Манифест.

«Божией милостию, Мы, Николай Второй, Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский и проч... и проч... объявляем нашим верным подданным...»

Сквозь толпу к манифесту протискался какой-то маляр и, опираясь на кисть, спросил:

— Чего такое? Что объявляют?

— Война! Война объявлена!

Маляр обернулся и растерянно развел руками:

— Народ! Робяты... Что это, а? Опять война... Опять, значит, воевать? За что же? Да что это такое? Неужто мы допустим, а?

Моргая глазами, в которых блестели слезы, маляр бегал от одного человека к другому, что-то говорил, спрашивал.



Подходили люди. Читали. А рядом с манифестом Андреич приклеивал еще одну афишу, с которой метнулось слово:

## «МОБИЛИЗАЦИЯ!»

### 2

Ночь. Волга. Рассекая острым носом темные волжские воды, пароход местной линии быстро бежит вниз по течению уснувшей реки. Над Волгой тишина. Тепло. Легкий ветерок бьет в уши и приятно освежает разгоряченное лицо.

Хорошо на Волге в темную июльскую ночь!

По сторонам парохода мелькают огни бакенов. Чернеют леса и прибрежные горы. Изредка мимо проносится встречный пароход. Салютуя свистками, пароходы расходятся. Снова ночь, тишина июльская; только вздрагивает пароходный корпус, да шлепают, бешено колотя воду, колеса, да звезды отражаются в Волге.

Стою на корме парохода. Бросая за борт окурки, смотрю в ночную тьму и думаю... От кормы идут волны. На воде остается красивая бурлящая полоса; она убегает куда-то вдаль и там исчезает, растворяясь в ночи.

«Эх! Так вот и жизнь моя убежит от меня и пропадет, растворится в грозных, надвигающихся событиях...»

От дум разбудил меня гудок. Уже светало. Пароход, будто падая на один бок, повернулся против течения Волги, убавил ход и плавно подвалил к дебаркадеру.

Вышел на берег. Было зябко. На луговом берегу барахтались в кустах туманы. Блестела Волга. Слышно было, как что-то чавкало под

бортом парохода. Началась погрузка. Снова ли грузчики. У мостков пристани сустились торговки с молоком. Ржали лошади. Об песок тихо плескались волны.

На берегу меня окружила толпа подводчиков. Скаля зубы и переругиваясь между собой, они наперебой предлагали мне свои услуги:

— Ну, подвезем, что ли?

— Со мной! Айда со мной! Гляди-ка — в тарантасе!

Я отказался от их услуг и решил идти пешком. Близко. До деревни — двадцать верст. Дорога селами, полями, лесом. Местность своя — каждый бугорок знакомый.

...По закону мне нужно было призываться по месту своего рождения. Двенадцатилетним парнишкой выбросила меня деревня из отцовского дома, погнала на заработок, за куском хлеба. И вот опять в деревню, на призыв; а с призыва — на фронт! Разом нарушился привычный ход жизни, оборвались все мечты и надежды...

Вдали показался лес. Солнце поднялось выше. Стало жарче. Я прибавил шагу и вскоре вошел под тенистый шатер деревьев. Бросился на траву. Было приятно, прохладно. Вспомнилось детство. Давно ли, кажется — вчера, я собирал здесь ягоды, орехи, грибы.

Отдохнул, пошагал дальше. Вышел из леса. Впереди, верстах в двух от меня, забелела церковь. Кругом были ржаные поля. Виднелись ветрянки. Над полями на разные голоса пели и свистели птицы. Навстречу мне, словно указывая дорогу, клонились колосья хлебов. А вправо, защищенная с севера большой горой, зеленела деревушка. Вся она утопала в садах. Среди зелени



дома казались издали маленькими игрушечными коробочками, которые шаловливый ребенок разбросал по ковру.

Народ был в полях. Жали рожь. Завидя меня, бабы и мужики бросали работу и, разгибая усталые спины, выходили к дороге.

— А-а, Ванюшка! На побывку?

— На призыв!

— Ах ты, господи...

Подошел к деревне. Мимо кладбища ехала телега со снопами. Рядом с пегой лошадежкой шагала высокий старик в пестрой рубахе и в лаптях.

— Тятя?

Старик вздрогнул. Увидя меня, растопырил руки, выронил кнут.

— Сына! Ты ли это? Вот не гадал, не чаял...

Поздоровались. Увидя нас, с завалинок поднимались старухи с ребятами на руках; из окон выглядывали старики. Здоровались. Откуда-то появились белоголовые малыши. Они забегали вперед, заглядывали мне в лицо и незаметно исчезали, разнося по деревне новость:

— У Михайловых дядя Ваня приехал!

Вот и наша изба. Ничего не изменилось. Все старое, все попрежнему — только будто все меньше стало. Или это я вырос? Ведь в детстве мне все казалось большим — и изба, и сени, и сарай.

В избе тихо. В чулане возилась мать. На ней был тот же, что и десять лет назад, наряд: кубовый сарафан со множеством пуговиц, на ногах — плетенные из лыка «коты», на голове белый — в горошек — платок.

— Здравствуйте!

Мать всплеснула руками и заголосила. Стало как-то неловко. Я успокоил ее, поцеловал и, чтобы прекратить ее плач, попросил молока.

— Сейчас, сынынька... Сейчас, Ванечек мой...

Прибежала с поля сестра. Ко двору и в избу собрались соседи, знакомые, мои товарищи. Ради свиданья выпили, закусили. Разговорились.

— Не во-время затеяли эту войну! — сказал отец. — Как же: на дворе страда, хлеб убирать надо, а тут весь народ заберут... Куда это годится?

Поговорили, разошлись. Мать начала убирать со стола посуду. Отец, покачивая головой, сидел на лавке и вздыхал.

— Что, тятя?

— Эх, Ваня, Ваня! Вот она, сына, и жизнь. Уходишь. А куда? На погибель свою... А я-то ждал, я надеялся: вот, мол, отдохну на старости лет, внучат поняньчаю... Ан нет, не выходит, сына, по нашему-то! Эх, господи, господи, и чего это царю понадобилось?

И заплакал бедный старик.

### 3

Вышел на улицу. Было тихо, тепло и как-то особенно легко. За околицей садилось солнце. По улице — от домов и ветел в овраге тянулись длинные, широкие тени. Из садов несло запахом яблок и прохладой.

С полей возвращалось стадо. Шли коровы, мерно покачивая рогатыми головами, важно, словно купчихи из церкви, переваливались из стороны в сторону и протяжным мычанием звали хозяек, которые встречали своих «Вечерок» и «Красулек» с куском посоленного хлеба.



Ко мне подошел чей-то теленок. Он постоял около меня, облизнулся и замычал. Не получая приветов, мотнул головой, похлопал ушами и, задржав свой хвост, с громким криком побежал вдоль улицы.

Около завалинки копошились цыплята. Прищурив глаз, лежала, виляя хвостом, собака. Гоготали возвращающиеся с речки гуси.

Деревня! Родина ты моя... Неужели через два-три дня я прощусь с тобой, быть может, навсегда — и уйду туда, где ждет... что там ждет меня — и сам не знаю...

4

Вечер. По улицам с гармониями, в обнимку гуляли рекруты.

А в избах перед иконами на коленях стояли матери и горячими слезами обливали пол.

Помню: на второй, кажется, день моего приезда домой, я проснулся ночью и услышал шопот. Это моя мать сидела около моей постели, гладила рукой мои волосы, всхлипывала и тихо шептала:

— Встану я, младшенька, рано-утренней зарей, умоюсь холодной росой, утрюсь мать-сырой землей, завалюсь за белокаменной стеной. Ты, стена ли, стена белокаменная, не пускай врагов-супостатов: дюжих австрияков, окаянную силу немецкую. Лягу я, млада-девица, во стану ли во ратным. А во этом ли во стану во ратным есть могуч-богатыри-ратники княжой породы, голубых кровей, со святыи земли русские. Вы, богатыри-могуч-люди ратные, перебейте вы злых людей — рать немецкую, полоните в полон земли герман-

ские. А я бы был из-за вас цел-невредим-живехонек и во добром во здравии.

Мне было жалко мать. Улыбнулся:

— Ты чего это?

Мать припала ко мне на грудь и зашептала:

— А ты лежи, лежи, сынок... Молчи, мой маленький, молчи... Ведь для тебя, сынок, все для тебя. Знаешь, материнская-то молитва на воде не тонет и в огне не горит...

Мать «заговаривала» меня от смерти, а по улицам ходили рекруты, играла гармонь, звенела песня. Она перекачивалась по садам, плутала по переулкам и где-то далеко-далеко замирала отголосками:

Последний нынешний денечек  
Гуляю с вами я, друзья.  
А завтра рано, чуть светочек,  
Заплачет вся моя семья.

## 5

Рассветало. Подул еле слышный ветерок. Поднялись с лугов густые туманы. Небо стало светлее, а на востоке оно, точно молоко в печке, подернулось румяной коркой зари.

Казалось — ничего не случилось, все шло своим порядком: взошло солнце, защебетали птицы, было тихо, тепло. И только люди в этот тихий, предутренний час начали свою обычную жизнь не по-обычному.

Первым на улице показался пастух. Он прошел в конец деревни, остановился там и заиграл в рожок.

Стадо тронулось в поле. Мычали коровы, телята; блеяли овцы и ягнята. Густым басом ревел бык...



...Наша семья встала еще до зари. Несмотря на ранний час, отец где-то успел уже выпить, и, пока мать готовила завтрак, он, кряхтя и пошатываясь, мазал дегтем телегу.

Мазал, а в лагун с дегтем капали слезы...

Сели завтракать, но завтрак остался нетронутым. Есть не хотелось. Молчали.

Отец посмотрел в окно, потом перекрестился и сказал:

— Ну, сына, да благословит тебя господь на подвиг ратный...

Я встал на колени, перекрестился и поклонился отцу в ноги. Он благословил меня и передал икону матери.

— Благослови, мать, сына...

Вместо благословения, мать заплакала.

— Ладно, мама, не плачь...

Вышли на двор. У крыльца стояла запряженная лошадь. Отец оправил на телеге сено, поставил мой зеленый «солдатский» сундучок, взял в руки вожжи.

— Анна, открой-ка ворота...

Выехать сразу не удалось. С крыльца сбежала мать. Она упала под ноги «Пегашке» и билась, рыдала, каталась по земле, рвала на своей голове седые волосы, свой кубовый сарафан, царапала желтую сморщенную грудь—будто хотела вырвать страшную боль из своего старого материнского сердца.

Отец, вытирая слезы, слез с телеги, взял в охапку мать и отнес ее в сени. Потом выбежал на двор, вскочил в телегу и ударил «Пегашку» кнутом:

— Но-о, распроклятый!

От каждого дома, из каждого переулка выезжали

подводы. Позади телег плелись матери, жены, детишки...

— Прощайте!

— Счастливый путь!

За околицей, вблизи кладбища, где сходятся со всех сторон четыре дороги, стояла часовенка. Здесь собралась почти вся деревня. На проводы приехал даже волостной старшина — в синей, тонкого сукна поддевке, в сапогах «гармонью» и с медной медалью на шее.

Откашлявшись, старшина встал на тарантас, снял с головы картуз с блестящим козырьком и, поглаживая рукой свою «холеную» бороду, обратился к нам с прощальной речью:

— Некрута! Вот чего скажу... На прощанье мир ставит вам бочонок водки! Слышите? Три ведра! Пейте, но смотрите, чтоб воевали там храбро! Правильна? Ну, вот... Так. Грудью встаньте, братцы, за царя и веру православную! Грудью! При до самой границы без передыха — и весь разговор! Правильна я говорю? Ну, вот. А теперь...

Понятые выкатили бочонок с водкой, поставили его на «попа», вышибли дно. Старшина подошел первым, почерпнул маленький ковшик водки, перекрестился и выпил. Выпив, потряс ковшиком:

— Ура, ребята!

— Ура-а-а!

Рекруты выпили бочонок водки, потребовали еще. Старшина «раскошелился», купил второй, за свои деньги. И этот выпили. А когда к часовенке пришел поп, то все — и рекруты и провожающие — были вдребезги пьяны.

Когда «батюшка» стал благословлять рекрутов, к нему подошел парень с двухрядкой через плечо. Он наигрывал «Подгорную» и орал:



— Благословляй, батяня! Н-на, в останний раз! Поп покропил парня водой, а парень, целуя крест, оборвал «Подгорную» и отчаянно вскрикнул:

— Ы-ых! Не сыграть мне больше на тебе, двухрядочка! Так н-на тебе! — грохнул гармонь о камень и заревел: — Дорогая, отыграла! Так н-на тебе, не доставайся никому!..

После молебна стали прощаться. Многие рекруты, не выдержав последних, особенно тяжелых минут, бросали своих родных, вскакивали в телеги, нахлестывали лошадей и с гиком, с криком, с ревом гнали их вперед.

6

Было тихое июльское утро. Городок еще спал. Внизу, под горой, плавно и спокойно катила свои воды Волга. Слышен был шум проходившего парохода. На колокольне собора кричали галки. Они сидели на крестах, поднимались в воздух и, удивленно крича, смотрели оттуда на площадь.

А площадь гудела народом, криками, песнями.

— Ти-ш-ша! Внимания!

Задребезжал звонок. Площадь зашумела сильнее. Рекруты и провожающие двинулись ближе.

На крыльцо приемной вышел писарь. Поднял руку. Когда успокоились, сказал:

— Первой призывается Никифоровская волость! Старшина Никифоровской волости здесь?

Из толпы вышел старшина. Подойдя к крыльцу, снял картуз, надел на шею медаль, встал во «фрунт» и отрапортовал:

— Здеся мы!

— Давай свою волюсть.

Повернувшись к народу, старшина скомандовал:

— Смирна! Никифоровская волюсть, шагом-марш!

На крыльцо приемной входили первые новобранцы.

7

Часам к двум очередь дошла до меня. С каким-то туманом в глазах и с шумом в стриженной голове я взошел на крыльцо приемной. Помню, как закрипели под ногами ступени, отворилась дверь.

— Михайлов?

— Да.

— Раздевайся!

Пока до меня доходила очередь, я сидел и смотрел на новобранцев. Их щупали, взвешивали, выстукивали, и новобранцы—сильные, здоровые парни трусили, боялись. Они послушно поворачивались, вставали, садились, а доктора, стукнув раза два-три пальцами по груди, слушали в трубку сердце, хлопали новобранца по спине и били:

— Годен!

— Следующий!

Врачи и члены призывной комиссии, поглядывая на меня, о чем-то совещались.

— Лоб!

Покачиваясь, я вышел на крыльцо. Отец встретил меня тревожно:

— Ну что, сына, как?

...Он понял без слов. Тихо мы пошли к своей телеге.



Утром приехали на станцию Шихраны. Остановились на привокзальной площади. Отец выпряг лошадь, привязал ее к телеге, дал корму, и мы пошли на станцию. С трудом протискались в помещение вокзала, потоптались там и, не найдя свободного места, вышли на перрон.

На перроне гулянье. Прохаживались шихранские барышни, в пестрых платьях и с букетами цветов в руках; металась деревенские бабы, в широких, как карусель, юбках, и среди этой пестрой и разношерстной толпы — мы, новобранцы.

Вот прощается со своей женой молодой, красивый новобранец. Жена повисла у него на шее и уже не плачет, а только ухает, вздрагивая всем телом. Парень неуклюже обнимает жену, гладит ее по спине и в сотый раз, кажется, наказывает:

— Баба, смотри — блюди себя!

В сторонке от других, на лужайке сидит кучка мужиков и баб. Все они приехали провожать неуклюжего, как медвежонка, парня Егора. Бабы сидят, разговаривают, мужики пьют пиво, а Егор стоит в кругу и, словно петушок, хорохорится:

— Ха! Ребята! Хрен ли унывать-та?! Пырнул ево штыком в пузо — и лапти кверху!

По перрону, заложив в карманы руки, шатался стройный, здоровый парень.

Блестя зубами, он улыбался всем доброй, хорошей улыбкой, подмигивал и смело подходил то к одной, то к другой группе новобранцев, подсаживался, заводил разговоры — и почти везде парню перепадала рюмка водки или стакан доброго домашнего пива.



— Правильно! — говорит веселый парень. — Где ему сдюжать: как вдарим — так...

И, не спросясь, садится в кружок, угощает Егора папироской.

Егор смотрит на парня, интересуется:

— А ты что, тоже на позицию?

— На позицию.

— А! Значит, вместе служить будем? Дело. Садись давай.

Парень подсел ближе. Егор налил новому «земляку» пива:

— Ну-ка, с новым-то знакомством — дерябни!

Парень «дерябнул». Вытирая рукавом губы, завел разговор: похвалил пиво, Егорову жену и посоветовал Егору держаться на службе и на войне вместе. Егор рад, благодарит парня и подносит еще стакан пива.

Я остался один. От нечего делать закурил, задумался...

— Позвольте прикурить...

Поднимаю глаза — передо мной стоит веселый парень. Прищуря свои серые глаза, улыбнулся. Прикурил. Сел рядом. Спросил, указывая на багаж:

— Тоже едете? Да-с. Чьи будете?

Я рассказал, кто и откуда я. Выслушал внимательно и с завистью заметил:

— Из завода, значит? Хорошо. Рабочий... Так-так. Оно сразу видно... А я, вот, — потрянул он волосами, — один я! Ни родных, ни знакомых... Весь я тут, как белочка.

— А вы откуда?

— Да с Волги я. Волгарь. Хе-хе-с! Воду от берегов отталкивал.

Разговорились. Парня звали Андреем Шараги-



ним. Он действительно был «болгарем» — служил на пароходах матросом, «плавал» на плотях, «ходил» на баржах...

Жизнь у Андрея была богатая. Он рассказал мне кратко о своих приключениях, о скитаниях по Волге и по белому свету, и его рассказ, и задор, с каким он говорил о себе, и его веселость, и какая-то беспшабашная беспечность и, особенно, его улыбка (бабы любят, когда им улыбаются так) невольно привлекли меня к Андрею — и не прошло и пяти минут, а мы уже познакомились и подружились.

На станции пробил колокол.

— На посадку!

Поднялась суматоха. Новобранцы и провожающие бросились к вагонам. Андрей тоже вскочил, схватил свой багаж, засуетился, заорал:

— Айда, Иван! Айда в один вагон! Скорее...

Кое-как пробились к вагону. Вошли. Андрей пробежал по вагону из конца в конец, вернулся обратно.

— Давай! Давай сюда! Лезь на верхнюю полку! Так. Сюда! Здесь спокойней будет.

Минут через сорок на станции опять ударили в колокол. Где-то в хвосте поезда раздался свисток обер-кондуктора. Ему ответил гудок паровоза.

— Поехали!

Рядом с нашим вагоном бежал какой-то мужичонка. Он пьяный, едва стоит на ногах, но бежит, спотыкается, машет фуражкой и кричит:

— Ягор! А, Ягор! Друг любезный... Эй! Смотрите — пиши, не забывай!

А из окна вагона высунулся «друг любезный» и мычит:

— С-св-ат... М-милай! Давай пярo с чернилами —  
счас напишу! в м-мамент!

Паровоз рванул вперед. Эшелон пошел быстрее. Чаше застучали колеса. Люди на станции становились все меньше и меньше и, наконец, пропали из вида. Шихраны уплыли куда-то вдаль. Вместе с ними уплывала наша старая жизнь.

9

Едем. Я — на верхней полке. Напротив меня — мой новый товарищ — Андрюшка Шарагин. Внизу под нами — казанский татарин. Одна полка — нижняя — свободна.

Шарагин завертывает папироску, закуривает и, набрав полный рот дыма, выпускает его вниз, на татарина. Тот морщится и нехотя поднимает голову. Андрюшка смеется:

— Будет дрыхнуть-та! Вставай, закуривай.

Татарин встает и несмело тянется к махорке; трясущимися руками свертывает толстую цыгарку, но ничего у него не выходит: бумага рвется, махорка сыплется... Андрюшка помогает ему. Цыгарка свернута. Татарин закуривает, делает затяжку, захлебывается дымом и долго, со слезами на глазах, кашляет.

— Что, — смеется Шарагин, — не выходит дело-то? Эх ты, — куряка! А ты привыкай. Годится. Знаешь пословицу: «Солдат шилом бреется, табачным дымом греется». Ты чей будешь, дальний?

— Казанский мин. Атрыс-деревня слышал? Во! Атрысский я. Ахмет Галеев. Малый Атрыс моя деревня.

— Семейный?



— Э-э, канечна! Баба дома оставался да два баранчук есть — маленький: Ибрай да Суфья.

— У-у! сколько их у тебя много. Да-а... Плохо женатым на войну итти.

Татарин машет рукой.

— Плохо. Ай, плохо... Когда я поехал, два пудка хлеба-то оставался. Э-э... Чего мой баранчук кушать-то будет? Неурожай наша сторона-то был. И земля мало. Совсем мало: пойдет моя в поля, один конец делянка стоишь, другой конца калякают — слышно: вот какой моя земля!

...Мимо нашего «купе» идет новый «земляк» Шарагина — Егор, восхвалявший в Шихранах силу русского штыка. Увидя Шарагина, остановился.

— А, Егор! — улыбается Андрюшка. — Ну, как дела-то?

— Дела? Дела — как сажа бела! Э, да тут у вас койка свободная есть...

Егор уходит и вскоре возвращается обратно с маленьким сундучком и с целым ворохом каких-то мешков и узелков с домашними продуктами.

— Эка, набрал сколько! — удивляется Андрюшка. — Кажется, на всю войну запас?

— Да баба все это моя, — оправдывается Егор. — Известно — бабы: разве с ними сговоришься...

Егор начал развязывать свои узелочки и раздавать нам сдобные лепешки, какие-то булочки, пирожки...

— Вот, Иван, — говорит Шарагин, уминая за обе щеки кусок Егорова пирога, — есть еще, оказывается, на белом свете хорошие люди... Д-да-а... Спасибо, Егор. Может, и мы тебе когда-нибудь пригодимся.

— О! На войне, голова, всяко придется... Один там — пропадешь! А вы ешьте, ешьте... Эй, слазь, давай оттеда. Ну! Давай, за компанью...

Все садимся за маленький столик у окна и начинаем уничтожать Егоровы запасы, а он, пошарив в каком-то мешочке, достал бутылку водки и, потрясая ею, заорал:

— Пымал! Пымал, робята! Вот она... Давайте-ка ее тово... А то на войне-то не знай когда придется...

Мы не отказываемся, выпиваем. За выпивкой Егор спрашивает:

— Робята! А, как по-вашему, долго эта война будет?

— Ну, долго — дня четыре...

— О!

— А что?

— Да ведь не знай, как воевать-то будем...

— Фу, как! Бей на то, чтобы в первом же бою Егорьевского кавалера заслужить. А что? Сказывали, вон — кто Егорьевский крест заслужит на войне, тому земли прирежут!

— А если — татарин, дают ему крест? Но-о? Мне тоже, мал-мала, земля-то, надо бы. Моя земля такой — маленький больно: один конца делянка-то стоишь, калякаешь на другой конца — каляк-то слышно.

Так ехали. Мимо окон эшелона бежали поля, луга и долины; попадались села и деревни, веселым хороводом кружились деревья, леса; мелькали телеграфные столбы, разъезды, будки...

Паровоз, разбрасывая косматые шапки пара, взрезая воздух, летел вперед. Свистел ветер. Поднималась пыль. Отчетливо гремели на стыках ко-



леса. Качались вагоны. За поездом стлался пышный дымовой султан и, не в силах догнать, оседал на кустах и постепенно расплывался по полям.

10

В левой стороне блеснула Волга. За ней смутно вырисовывались широкие просторы лугового берега. В синеватой полумгле июльского дня причудливо повис над Волгой железнодорожный мост. А прямо, раскинувшись по горе, виднелся Симбирск.

Эшелон подошел к товарной станции.

— Ну вот и приехали...

На станции нас уже ждало начальство. По деревянной платформе — вдоль эшелона, положив на эфес своей шашки руку в белой перчатке, прохаживался какой-то прапорщик. Закуривая, он подошел к нашему вагону.

— Ну, как доехали, ребята?

— Слава богу, ваше благородие, благополучно!

В это время в вагоне кто-то сморкнулся, да так громко, что офицер заинтересовался:

— Это кто у вас такой сопливый?

Новобранцы переглянулись между собой, улыбнулись:

— Шарагин это, ваше благородие...

— Какой Шарагин?

К окну подошел Шарагин.

— Я Шарагин!

— Ну-у? Ты что такой сопливый?

Андрюшка улыбнулся:

— А это я, ваше благородие, двое суток на печи валялся, так у меня коленку животом схватило и в левую ногу насморком отозвалось...

— Ха-ха-ха! — захохотал прапорщик. — А ты, оказывается, забавный парень! А?

— Ну, забавный, — плюнул Андрюшка в окно. — У меня дедушка забавнее меня, покойный, был.

— Н-ну? Чем это он?

— На бабушке старик подох и не покаялся...

Прапорщик прыснул от смеха, покачал головой:

— Ну и чудак! Как тебя звать-то?

— Меня-то? Андреем, ваше благородие.

— Андреем? У-с, чорт... Значит, тезка мне? Так, так. Ну, Андрей, пойдешь в мою команду?

— Зачем?

— Служить.

— А-а, служить! А я думал — кашу есть...

Так началось наше знакомство с одним из офицеров царской армии — с Андреем Александровичем Буреновым.

Из вагонов, гремя сундучками и болтая котомками, начали выпрыгивать новобранцы.

Показался высокий и прямой, как палка, человек в военной форме, с темнорыжей щетиной на голове и с такими же подстриженными «щеточкой» и торчащими вперед, как настоящая сапожная щетка, усами.

Человек похож на командира: фуражка не солдатская, на плечах — погоны с широкой нашивкой.

— Кто это такой?

— Этот? У-у, — хмурится Шарагин, — это — главная шкура...

— Кто?

— Фельдфебель.

Я смотрю на этого «страшного» человека. Вот он прошел мимо нас. У него какие-то темные



глаза, густые брови и широкий, похожий на утиный, нос. На носу — угри.

Фельдфебель прошелся мимо нас и остановился перед Буреновым.

— Ваше благородие, прикажете построить?

— Построй, Пахомов.

Пахомов, — как, оказалось, звали фельдфебеля, — оправил свой ремень и каким-то сухим, «деревянным» голосом крикнул:

— Становись!

Шарахнулись новобранцы от этой команды, вздрогнули, засуетились.

— Не так! Не так!

Пахомов указывает, как надо строиться, ругается. Но строй у нас почему-то не выходил: стояли кучей, лицами в разные стороны, топтались на одном месте, толкали друг друга...

Тогда к строю подошел Буренов и отрывисто, громко:

— Становись! У-с, чорт! Что за люди, на земле стоять не умеют! Становись, по четыре человека в ряд! По четыре. Так. Равняйся! У-с, чорт... Ты, там! Убери брюхо-то назад! Что выставил его, как лукошко?

Напуганные грозным голосом Буренова и его «У-с, чортом», новобранцы еще больше спутали и расстроили ряды.

Наконец построились. Буренов отошел в сторону, закурил. Пахомов встал на правый бок нашей колонны и скомандовал:

— Рота! Ша-гом — арш! Запевай!

Тронулись. Взяли «ногу». Шагаем, и не понимаем, что хотят от нас командой «запевай». Молчим. Тогда Буренов подбежал ближе и «заругался»:

— У-с, чорт! Чего молчите? Запевай! Ну, ты? —

обратился он к Егору Буракову. — Ты что, в строю идешь или в табуне?

— Зачем?

— Запевай, давай!

Бураков покраснел и тихо запел:

Пошли девки на работу...

Буренов остановился, осмотрел нашу колонну и улыбнулся:

— Вот-вот, давно бы так... У-с, чорт, а вы что не поете? Все, ребята, пойте, все! А ну-ну, р-раз, два, три!

На работу, кума, на работу,  
На работу, кума, на работу,—

заорали мы в разноголосицу, и среди этого крика и гама отчетливо выделился звонкий голос Шарагина.

Буренов заметил это, остановился.

— Ого! Тенор? Это кто там — Шарагин? О, молодец! Талант, талант... А ну отдери, Андрей, веселее!

Песня кое-как наладилась. Хорошо спели как «девки на работе пропотели» и «покупаться захотели», вышло и то, как у одной девки «вор Игнашка спер рубашку», все шло хорошо, гладко, весело.

Егор Бураков запевал:

Эта девка не стыдлива:  
За Игнашкой попылила...

А мы с присвистом, с подголосками подхватывали припев:

Попылила, кума, попылила;  
Попылила, кума, попылила!



Но как дошли до матерного места — спутались, озекались, замолчали... Стыдно стало.

Фельдфебель заставил петь.

И так, с матерщиной, мы вошли во двор казармы, матерщиной начали свою службу царю и отечеству.

11

Первую ночь провели в каких-то бараках. Спали на соломенных тюфяках. И не выспались. Большинство новобранцев почти всю ночь воевало с клопами и вшами.

Часа через два я уже проснулся, сбросил с себя одеяло и сел. Все тело чесалось, зудело, точно оно было исхлестано крапивой. Сна уже не было. Заложив за голову руки, лег и лежал так, прислушиваясь к ночной жизни барака.

В бараке — как в погребе: сыро, мрачно, холодно. Разметавшись на нарах, храпят новобранцы. Спят тревожно: чмокая губами, охая и вскрикивая — спросонья от укусов клопов и вшей.

Где-то около двери барака слышны шаги дневального, который тихо напевал песенку:

Над возморьем мы стояли,  
Да на германском берегу.  
Тпру-да ну, ну-да-тпру —  
Да — на германском берегу...

Около меня лежит Андрюшка Шарагин. По нему ползают клопы. Я снял одного, раздавил. Шарагин проснулся:

— Ты чего?

— Клопы, вон, тебя...

— А-ах! — зевнул Андрюшка и сел. Посидев ми-

нуты две-три, ничего не соображая, он запустил в голову обе пятерни и начал чесаться. Расчесав таким образом свои волосы, Андрюшка поднял рубаху и стал немилосердно драть ногтями брюхо.

— Ну и жрут...

— Не говори!

— А что будет на войне-то?

Вопрос Андрея застал меня врасплох. Я и сам еще не знал, что будет на войне, и невпопад ответил:

— Пропадем, Андрей!

— Ну, уж — дудки, чтоб я пропал. Да что я — дурак, что ли?

— А что?

## 12

На третий день по приезде в Симбирск началось формирование частей.

Утром, едва только горнист «поднял» зорю, всех новобранцев выгнали на плац и построили во фронт. Стоим. Фельдфебель Пахомов «держит» перед нами первое «военное» слово, поучает:

— Ребята! Это вот — строй. А строй для солдата, это — святое место! Поняли? Ну, вот. А теперь смотрите, как надо стоять в строю. В строю стоят так: глаза должны видеть грудь третьего стоящего от вас человека. Вот так. Руки — по швам. Локоть должен касаться локтя соседа. Пятки вместе, носки — врозь. Поняли?

— Так точно, ваше благородие!

Пахомов покрутил усы и тяжело вздохнул:

— Не так. Я для вас еще не «ваше благородие», а «господин обучающий» или «господин фельдфебель». Поняли?



— Так точно, господин обучающий!

— Ну, вот. А теперь — слушай мою команду. Равняйся!

Началась разбивка на роты, на взводы и отделения. Я был назначен в 1-й взвод 2-й роты 21-го Сибирского ее величества стрелкового полка. Вместе со мной в эту роту попали мои товарищи: Андрей Шарагин, Ахмет Галеев и Егор Бураков.

После разбивки узнали, что нашей ротой будет командовать штабс-капитан Годовицын, а Буренов будет командиром пулеметной команды.

Буренова нельзя было назвать красивым. Но это был такой человек, что с первой же встречи, с одного взгляда вызывал к себе симпатию. Высокий, плотный, чуть сутуловатый, с пегими, подстриженными по-«английски» усами, с узким бордюром черных волос вокруг небольшой лысины, с добродушным взглядом своих серых глаз, какой-то спокойный и суровый, — прапорщик Буренов вскоре стал для нас родным и близким человеком.

Случалось, бывало, попадешь впросак; фельдфебель Пахомов грел нас за это и в хвост и в гриву, даже бил. А Буренов подойдет, посмотрит прямо в глаза, прищурится и скажет:

— Ты что же это, парень, а? Я на тебя надеялся, а ты? У-с, чорт!

И от этого «У-с, чорта», и от острого взгляда Буренова становилось как-то неловко, стыдно — и в следующий раз уже стараешься не допускать оплошности.

Во дворе казармы горнист уже «поднял» утреннюю зорю. По палатам пронесся зычный голос дневального:

— Вставай!

Встаем. Проворно одеваемся и, оправляя на ходу гимнастерки, выбегаем на плац. На плацу нас уже ждало все наше начальство. Все они сегодня почему-то строгие, торжественные, подтянутые.

В стороне от нас длинными рядами стоят в пирамидах новенькие винтовки. Мы смотрим на них и догадываемся:

— Ага! Значит, присягу будем принимать...

Годовицын поздоровался с нами и объявил, что сейчас должен приехать командир нашего полка. Он привезет с собой полковое знамя, познакомится с солдатами, скажет нам напутственное слово к присяге, — а поэтому мы должны показать себя лицом, чтобы ему, Годовицыну, не пришлось краснеть перед командиром за свою роту.

Говорил вяло, неохотно. Хмурился, кусал свои губы, часто снимая и надевая на руки перчатки.

Командир полка ее величества полковник Георгий Нелькин приехал после поверки на автомобиле. Это был тучный, багроволицый, с большими седыми усами вояка, лет за сорок пять. Он поздоровался с командирами, лениво ответил на их приветствия и козырнул нам:

— Здорово, молодцы!

— Здравей желаем, ваше высокородие!

— Штабс-капитан, распустите строй, приготовьте людей для принятия воинской присяги...

Вернулись в казарму, умылись, почистили сапоги, обмундирование и стали ждать присягу.



Интересно было. Нам говорили, что присяга — это самое главное для солдата. До присяги солдат еще туда-сюда, но раз принял присягу, то это — ого-го-го, брат!

Что означало это «ого-го-го, брат!», мы не знали, расспрашивали Пахомова, старых солдат, друг друга...

И вот настал час присяги. Нам не терпится:

— Ваше благородие, скоро, что ли, на присягу-то, а?

Пахомов глядит на нас, молча шевелит усами, потом говорит серьезно и строго:

— Скоро, скоро! Ложки-то захватили, что ли?

— Ложки? А зачем ложки-то?

Фельдфебель невозмутим. Пряча в усах улыбку, говорит:

— Хы! Зачем... А присягу-то хлебать чем будете?

— А она какая, господин обучающий?

— Ну вот — какая, какая... Ты, Бураков, дома говорил, наверное?

Бураков обиженно возражает:

— Вот еще! Что я — нехристь, что ли?

— Причастья поп тебе давал после исповеди?

— А как же, как же...

— Много?

— Ну, много. Так, с чайную ложку...

— Ну вот и присяга, вроде причастья. Только покрепче будет. Да, да. Причастье-то ведь всем, без разбору дают: и бабам, и младенцам... А тут — специально для нас. Понял?

— Будто понял, — говорит Егор, — только ложки-то зачем? Чать, у попа-то своя есть — золотая.

— Золотая, золотая! Ты знаешь, сколько в полку вашего брата? Как баранов в стаде. Ну вот.

Если каждому в рот по ложке совать, так не только у попа руки, крылья у мельницы отвалятся.

— А как же тогда?

— Сами хлебать будете!

— Так ведь ложки-то у нас хлебальные...

Пахомов осердился, обозвал Буракова дураком и уже не Егору, а всем пояснил:

— В великий пост, например, говеть может всякий. Это каждый год можно. А тут присяга на верность царю императору, можно сказать — на всю жизнь. Так неужели для такого случая хлебальной ложки присяги для солдата пожалеют!

— Да-а... Это сколько же присяги-то для нашего брата надо?

— Ведрами дают! Да, да. Ее прямо в купель, где ребятишек крестят, наливают. Да, да. Вбухают ведер пять-шесть, и хлебай. Мало — сторож еще подольет.

— А где ее берут, господин обучающий?

— Где, где! Дня за три, наверное, сорокаведерную бочку уже привезли... Иди, вон, погляди, в правом пределе стоит...

Сомнения наши рассеяны. Мы достаем свои хлебальные ложки, обтираем их и прячем за голенища сапог.

К присяге привели после обедни. В церкви было строго, торжественно. На амвоне, среди портретов царя и царицы, стояло воткнутое в пирамиду винтовок наше полковое знамя — белое, роскошно отделанное шелковое полотнище с вышитой царской короной, с инициалами императрицы, с круп-



ными золотыми буквами: «С нами бог» «Сим победиши».

Когда в последний раз закрылись «царские» врата, на амвон вышел наш полковой батюшка — отец Макарий с большим распятием в руках. Он благословил нас и тихо, по-старчески запел какой-то тропарь.

Солдаты молились. А Егор Бураков, стоявший около меня, все глядел по сторонам и тихонько спрашивал:

— Иван, а где присяга-то?

Признаться, я и сам несколько раз заглядывал в правый притвор церкви, где должна была быть обещанная Пахомовым бочка с присягой. Но ни бочки, ни присяги не было.

Кончив петь, отец Макарий опять благословил нас распятием и, показывая рукой в алтарь, пригласил:

— Воины, приготовьтесь к таинству принятия святой присяги...

Дрожа, я шагнул на амвон и левой боковой дверью вошел в алтарь. Здесь меня встретил стоящий за аналоем отец Макарий. На аналое — крест и евангелие. Священник перекрестил меня и указал пальцем на пол, около своих ног. Я опустился на колени. Священник накрыл меня «патрахилю», — как мы называли похожую на фартук принадлежность поповской одежды, — и, указывая своим перстом на распятие, угрожающе прошептал:

— Повторяй за мной! Я, солдат 21-го Сибирского ее величества стрелкового полка...

— Я, — солдат 21-го Сибирского ее величества стрелкового полка... — повторил я.

— Иван Михайлов...

— Иван Михайлов...

— Отрекся от сохи-бороны, от матери и жены, от родной стороны и трижды перед крестом и евангелием клянусь верой и правдой и кровью своей служить царю, престолу и отечеству...

Я повторил слова присяги. Священник еще раз благословил меня, дал поцеловать распятие.

— Посылай там следующего.

Встал я, отошел от аналоя и зашатался... Голова закружилась, в глазах потемнело. Ударила мысль: «Отрекся! Да, отрекся...»

После присяги мы собираемся вместе, закуриваем.

Ахмет Галеев, принимавший присягу у муллы сокрушается:

— Эх, ребята! Бяда-то какой...

— Какой?

— О-ой, калякать-то страшно! Е-бог. «Деревня-то, — мулла говорит, — теперь у меня нет. Жена-то, дети — тоже нет». Ай, чего миня делать-то будет, ребята?

## 15

Вечерами мы выходили на двор, садились на бревна, закуривали. Вокруг Шарагина моментально собиралась чуть ли не вся рота.

— А ну-ка, Андрюша, сказочку-другую...

Сказок Андрюшка знал сотни, анекдотов — тысячи, а шуток, прибауток, поговорок — без счета, и так умел преподносить их, что солдаты, слушая его, ржали.

Однажды Андрюшка рассказывал нам, как солдат чорта перехитрил.



Смеясь и слушая Андрюшку, мы не заметили, как к нам подошел Буренов. А он подошел, почему-то скучный, грустный, встал в сторонке — и минут через пять уже искренне хохотал над похождениями Андрюшкина солдата.

— Шарагин! Чорт! Да с твоей головой, с твоей смекалкой тебе бы, знаешь, где надо быть?

— Где, ваше благородие?

— Узнаешь завтра!

На другой день после этого разговора Андрюшку вызвали в ротную канцелярию и объявили там, что он, Андрей Шарагин, назначается во вновь сформированную пулеметную команду.

Это известие не обрадовало Андрюшку. Встретив Буренова, он стал упрашивать его: нельзя ли как-нибудь освободиться от этой команды...

Буренов, по своему обыкновению, начал расхваливать звание пулеметчика, стал советовать, чтобы он учился пулеметному делу.

— Да что ты, Шарагин! Я тебе лучшего хочу, а ты...

— Да, ваше благородие, а как я с ребятами расстанусь?

— Ах, с ребятами! У-с, чорт... Чудак, так мы формируем целую команду, вот я и хочу всю вашу компанию пулеметчиками сделать. Согласен?

## 16

Погожее утро. Холодно. Симбирск еще спит, а мы, забрав с собой деревянные пулеметы с трещотками, винтовки, учебные патроны, идем на строевые занятия.

— Солдат должен быть как пружинный! — пояс-

нил Пахомов.— На войне, на службе царской с солдатом всякое может произойти — и солдат должен из всякой беды найти выход, должен из воды сухим вылезти, из огня неопалимым выйти. Поняли?

— Понять-то поняли, а как это «из воды сухим, из пламя неопаленным» выйти?

— Как? Очень даже просто. Для этого каждый солдат должен знать на зубок всю военную науку!

Ох, и доставался нам этот «зубок» военной науки...

Особенно труден был один ружейный прием: «Выпад, по команде: «Коли!» Состоял он в том: Пахомов выстраивал группу в две шеренги. Мы подавались вперед, падали на левую полусогнутую ногу и выбрасывали на вытянутые руки тяжелые, двенадцатифунтовые винтовки с привинченными штыками. А Пахомов, отойдя в сторону, прищуривался, глядел и покрикивал:

— Эй! Равновесно! Равновесно держать...

Держать «равновесно» было не так-то легко: винтовка «ныряла» вниз, руки немели, начинали дрожать ноги...

Тогда Пахомов подходил к кому-нибудь и спрашивал:

— Ты что, кур дома воровал, что ли?

— Нет, зачем! Каких кур?

— А почему у тебя руки дрожат?

— Руки? Равновесия нет, господин обучающий.

— А-а, равновесия... Ложа, что ли, у тебя назад перетягивает? Ну, это дело можно исправить.

Пахомов снимает с головы солдата фуражку и вешает ее на штык.

— Стой, стой! Вот тебе и равновесия...



А когда Пахомов командовал «вольно», когда мы расходились из строя и хотели закурить, то руки так дрожали, что не свернешь папироски — пальцы не разгибались.

После закурки разбиваемся опять на группы. Пахомов делается страшно важным и недоступным. Стоит около пирамиды винтовок и, поглаживая усы, выкрикивает:

— Эй, кто там — Михайлов? Так, так. Михайлов! Идешь ты, скажем, по городу... Так? Идешь, а навстречу тебе господин офицер идет. Покажи мне, какую честь ты должен ему отдать?

Я отдаю Пахомову «офицерскую» честь. Ему нравится.

— Хорошо! Молодца, Михайлов! Следующий! Бураков!

Чувствуется — Егор трусит. Пахомов смотрит на него и медленно говорит:

— Ну-с, вот что, Бураков... Отдай честь просто — мне.

Бураков, высоко, по-«журавлиному», поднимая ноги, идет к Пахомову. Подойдя, встает, щелкая каблуками, неуклюже поворачивается к фельдфебелю и приставляет к виску ребро своей ладони.

— Дурак! — рявкает Пахомов. — Я что тебе — полковник, что ли?

— Виноват! — бормочет Егор. — Виноват, ваше благородие...

— Следующий!

Из шеренги вышел Шарагин. Пахомов, опираясь на палочку и приосаниваясь, спрашивает:

— Шарагин, ты солдат?

— Так точно, господин обучающий!

— Так. Хорошо. А теперь представь себе, что я вот — енерал. Да. Иду по садику. И вот, иду я,

а навстречу мне попадает солдат Шарагин. Какую честь он должен мне отдать — как енералу?

Шарагин подтянулся и, печатая шаг, идет к Пахомову. Шагов за десять—двенадцать до «енерала» берет поворот налево и застывает с поднятой к виску рукой на месте.

Пахомов неспеша, по-«енеральски», проходит мимо. Андрюшка провожает его медленным поворотом головы и «ест» глазами. Пахомов смотрит и изрекает:

— Пенек ты, Шарагин, а не солдат! Да, да. Ты должен стоять перед енералом — как дуб перед грозой! А у тебя вся туловища туды-суды вертится... Куда это годится? Ладно. Хватит так. Теперь мы будем учиться по-другому. Вы будете учить друг друга, а я полежу немного и буду на вас глядеть. Разбейтесь на пары и начинайте.

Под мое «командование» попал Егор Бураков. Я отвел его в сторону и начал учить. Но Егору трудно давалось мое «ученье», он путался, трусил, делал массу ошибок, устал...

Пахомов глядел-глядел на нас и подошел ближе.

— А-а, плохой из тебя командир, Михайлов...

— Почему?

— Так. Какого чорта он у тебя не понимает?

— Ничего, господин обучающий, привыкнет...

— Чорта с два он привыкнет! Он — лодырь хороший!

Бураков виновато улыбнулся и откровенно сознается:

— Малограмотный я, ваше благородие...

— Балбес! А зачем тут грамота нужна?

— Да, все-таки...

— Все-таки, все-таки... Тебе что тут — гимназия,



или ниверситет? Руку поднять и без грамоты можно. Ты — просто...

— В-винов-ват! В-вин-нов-ват, ваше благородие...

— Виноват, виноват! Михайлов, дай ему по ряжке — сразу поймет! Слышишь? Дай ему в нюхальник, живо поймет!

Что? Ударить Егора, своего товарища?

Непонимающе я уставился на Пахомова и заморгал глазами.

— Что пялишь буркалы? Не слышал моего приказа? Вдарь ему!

Я отказался. И в следующее мгновение ко мне подскочил Пахомов и сразмаху закатил мне такую оплеуху, что у меня в ушах зазвенело.

— Ваше бла-а-а...

— М-малчаты! Строй — святое место для солдата! Смирно! Как стоишь, сукин сын? Строй — святое...

Я застыл в «святом» месте. Пахомов развернулся и ударил меня еще раз. И так стояли мы, два товарища, два солдата; а третий солдат, только в чине фельдфебеля и с золотой нашивкой на погонах, ни за что ни про что бил нас.

Подравшись, Пахомов закуривает, обводит своих «учеников» долгим взглядом и говорит:

— Постой, кто нам скажет? Ага! Галеев!

— Ий-е! — вскакивает Ахмет.

— Дурак! — спокойно встречает Ахмета Пахомов. — Баран-башка ты. Сколько разов я говорил тебе, Галеев, чтобы ты не иекал, а отвечал так, как этого требует устав: то есть — «Я!» Понял?

— Ийе, ийе, ваша благородие...

— Опять иекаешь? У-у-у, пенек дубовый... Как стоишь?

Ахмет мнется, спрашивает:

— Как стоять-то, ваша благородие?

— Вот как! Понял? А ты? Как ты руки держишь? Руки!

Опуская по швам руки, Ахмет каменеет. Пахомову нравится, он улыбается:

— Так! А теперь скажи ты нам вот чего. Слушай! Стоял бы ты, Галеев, например, во дворце государя императора на часах. И вот. Стоял бы ты, и вдруг на-тебе: идет сама государыня императрица. Как бы ты ее возвеличал, Ахмет Галеев?

Ахмет молчит. Пахомов уходит в угол «палаты», поворачивается обратно:

— Ну, Галеев?

Ахмет глотает слюни, пожимает плечами, глупо улыбается:

— Э-э-э, ваша благородие! Миня не будут на дворец-то, на часы-то ставить...

— Ну, а допустим. Допустим, поставят. На службе, брат, всяко бывает. Ты стоишь, а тут — государыня выходит и говорит: «Здравствуй, Ахмет Галеев!» Как бы ты должен возвеличать свою матушку-государыню?

Ахмет опять молчит и шмыгает носом. Пахомов начинает злиться:

— Енерал! Чо фырчишь соплями-то, верблюди-на господня? Говори: как величать государыню императрицу?

— Ваша благородие, не знает моя, как ее, государыня-то, величать... Ей-бог, не знаю...

— Дуру гнешь, Галеев. Дуру. Как это — «моя не знает»? Я тебе вечор еще приказал, чтобы ты от слова до слова вызубрил весь титул государыни? А ты?



— Титул, титул, — повторяет Ахмет. — Не знает моя титул-то, ваше благородие... Ей-бог, не знаю.

— Да как же! Я тебе вечор книжку дал? Дал. В той книжке про титул написано? Написано. Так какого же ты чорта загибаешь!

Ахмет виновато улыбается, но не сдается и говорит:

— Ваше благородие, я не понимаю русский-то язык...

— Ну, нашел выход! Если не знаешь, товарищей бы попросил, которые в грамоте знают. Вот бы Михайлова или Шарагина спросил.

— Я спрашивал. Михайлов-та миня говорил, да у миня память-то, ваше благородие, такой — маленький совсем...

Пахомов начинает сердиться и повышает голос:

— Но-но! Разговорился больно много... Садись давай да чухай, что умные люди говорить будут. Вот. А после занятий пойдешь на два часа под винтовку.

Вздыхая, Ахмет садится. Пахомов снова ходит по «палате» и намечает очередную жертву словесности.

— Михайлов!

— Я-ау!

— Тьфу ты, чорт! Чего орешь? Знаю, что ты. Не велика цапля... А вот, если ты, то скажи нам, Михайлов, полные титулы царской семьи!

Встаю, оглядываюсь. Вокруг меня, точно вынутые из воды сазаны, сидят солдаты. Все смотрят на меня, ждут ответа. Но что сказать? Ну, хоть убей меня — не знал я полных титулов царской семьи, да и только.

А Пахомов ругается, торопит:

— Ну, ну, Михайлов, семеро одного не ждут...

Я проглатываю густую слюну и тихо говорю:

— Не скажу, господин обучающий.

— Что-о? — выпрямился Пахомов. — Это что у тебя за секрет?

— Позабыл...

— Позабыл? Ах, Михайлов, Михайлов! Такой солдат и позабыл? А-я-й! Забыл, значит? Ну, это еще беда не велика, мы ее сейчас поправим... Ступай-ка, Михайлов, поговори с матерью.

Разговор с матерью был для нас самым позорным наказанием. Он состоял в том, что провинившийся солдат открывал печную трубу и кричал в нее, прося у матери помощи и совета, и ругал себя дураком.

Подошел я к печке, открыл трубу и начал протяжно кричать:

— Мама! Какой я у тебя дурак... Ма-а-м, скажи мне полные титулы царской семьи...

Кричу, а около меня ходит Пахомов и смеется:

— Хо-хо! Вот это здорово... Сам сознается, что дурак... Ну и Михайлов... И не стыдно тебе, а?

— Стыдно, господин обучающий.

— Вот, вот. Вот и я тоже говорю...

Поговорив с матерью, я сажусь на свое место. Пахомов поругал меня, посмеялся и пошел дальше.

— Бураков! А ну-ка, помнишь ли ты, чему я учил тебя?

Бураков побледнел. Потом бледность сменилась ярким румянцем, и Егор, посапывая и шмыгая носом, уныло смотрит на Пахомова.



— Ну, что пялишь на меня зенки-то! Узоры на мне увидел, да?

— Нет. Никак нет, узоров не имеется...

— А нет на мне узоров, так говори!

Вчера Пахомов поставил Буракова на два часа под винтовку за то, что он не выучил титул государя императора, и обещал еще высечь розгами, если он не выучит титула к следующему занятию по словесности.

Бураков часов до трех ночи не спал и все бормотал про себя: «Его императорское величество...» и на зубок выучил весь титул государя и теперь с нетерпением ждал вопроса Пахомова, чтобы показать свое знание и хоть раз получить не наказание, а похвалу. Но получилось наоборот. Пахомов намекнул на что-то своим «говори», с минутой помедлил, наслаждаясь волнением Буракова, и потом быстро спросил:

— Кто у нас внутренний враг?

Бураков разинул рот, взволнованно глотнул воздух и медленно, сквозь зубы, выпалил:

— Его императорское величество!

— Что-о-о?

Звонкая пощечина. Бураков сразмаху плюхнулся на пол и, ничего не соображая, отупело глядит на Пахомова.

— Ты у меня только повтори еще раз... — хрипит Пахомов, боязливо оглядываясь по сторонам. — Повтори-ка, дубина проклятая...

Егор молча пятится назад, с ужасом глядит на Пахомова и бормочет:

— Виноват! Виноват, ваше благородие...

— Дурак!

— Точно так, ваше благородие!

— И я дурак, что связался с тобой!

- Так точно, ваше благородие!
- Что-о-о? Что ты сказал?
- Так точно, никак нет, ваше благородие...
- Чего, чего?
- Не могу знать, ваше благородие...
- Я тебе дам — «не могу знать»... Повтори, что сказал!
- Так точно, никак нет, не могу знать, ваше благородие!
- Чалдон! Чорт ты вятский! — орет Пахомов. — Чего жуешь? Я про что тебя спрашиваю, а? Повтори-ка...
- Ваше благородие, запомнил я...
- Запомнил? — переспрашивает Пахомов. — Запомнил? Ладно, я тебе сейчас напому... А ну-ка, пятьсот шагов гусиного марша!
- Эх! — вздохнул Бураков и пошел маршировать по-«гусиному». Пахомов улыбнулся, сказал: «Так!» и опять крикнул:
- Шарагин!
- Я!
- Ну, и ладно. Знаю, что ты. А вот, если ты, то скажи нам все чинопочитания нашей армии. Шарагин встал и, морща лоб, начал перечислять своих непосредственных командиров.
- Задача эта — нелегкая. Но сначала у Андрюшки дело шло хорошо: он уже перевалил за корпусного и как-то вдруг осекся, застопорился и начал зачем-то оправлять свою гимнастерку.
- Ну, дальше?
- Позабыл, господин обучающий.
- Эх! И ты позабыл? Ах, Шарагин, Шарагин... Ну, ничего, иди, спроси у матери, она скажет.
- Нет, нет!
- Что-о? — рывкает Пахомов. — К матери!



Потупив глаза и повесив голову, Шарагин пошел к печке. И вот среди всеобщей тишины, страха и напряжения солдаты полка ее величества начали проделывать глупейшие и унижительные действия: Шарагин кричал в трубу: «Мама, какой и ду-ра-а-ак!», а по полу, глотая соленые слезы и обливаясь потом, Егор Бураков отсчитывал третью сотню «гусиных» шагов и, как ребенок, тираторил:

Ходи теща, ходи тесть,  
У нас много браги есть!

А посредине «палаты», уперев в бока руки, стоял Пахомов и, ворочая белками своих глаз, удивлялся:

— Хо! Видали дураков, ребята? Ну, не смешно ли это, а?

— Смешно, господин обучающий.

— Смешно? А какого чорта не смеетесь?

Что делать? Приходится смеяться. И вот вся рота, двести пятьдесят здоровых парней, начинает смеяться. Сначала тихо, потом все сильнее и сильнее — и, наконец, своды «палаты» гудят от сплошного гоготания:

— Гы-гы-гы!

— Ха-а-а-аха-ха!

— Го-о-о-го-го!

— Хо-о-охо-хо-хо!

Насмеялись. Пахомов доволен. Он велит Шаругину сесть на место. Тот сел. А когда Бураков отмерил «порцию» «гуся», Пахомов опять спрашивает его, но на этот раз уже не про внутреннего врага, а про внешнего, — и Егор, всхлипывая и шмыгая носом, опять начинает бормотать:

— Ды, эт-та! Внешней — это враг, ваша благородие...

— Ну, знаю. Знаю, враг. А кто?

— Ну, кто? Ну, турок, там, австрийцы, герман, так сказать...

— Вот, вот! Молодца! Правильно. Еще немного — и из тебя, Бураков, хороший дипломат может выйти, честное слово. Садись давай!

Под конец занятия мы просто балдеем. Устает и Пахомов. Он становится злее, матерится, бьет нас — и, наконец, говорит:

— Ну, ладно. На сегодня хватит. Но если ты, сукин сын, не выучишь мне к завтраму полный титул государя императора, я тебя без хлеба сожру! Можно разойтись!

С глубоким чувством облегчения расходимся.

## 17

Вечером, после занятия, мы сидим во дворе казармы и в ожидании ужина и поверки курум, разговариваем...

Шарагин рассказывает сказки. Вокруг него — толпа солдат. Им весело, они хохочут, а Андрюшка «непареное» гнет:

« — Вот, ребята, отслужился наш солдат в старинной армии — и пошел до дома топать. Итти ему — далеко. Да ладно, идет. Ноги не казенные...

По дороге зашел он в одну деревушку. Просится ночевать. Ладно. Староста дал ему понятого, и тот поставил нашего солдата на постой в одну избенку, к старику со старухой.

Старики сиротами были: детей у них не было, скотины тоже. А был у них один бычок годовалый: черненький-черненький и со звездочкой на лбу.

Любили старики бычка. Души не чаяли. И про-



звали его «Бынюшкой». «Бынюшка» да «Бынюшка» — так и звали.

Ну, вот. Приходит солдат, поздоровался.

— Так и так, мол, на постой к вам прислали...

Добрые люди были, приняли солдата. Старуха самовар поставила. Старик за полбутылкой сбегал. И сидят, чаек да водочку хлебают. Солдат про службу говорит, старик — про жизнь свою, а старуха сидит только да слушает.

Солдат хвалится:

— Жить можно, бабушка. Хорошо можно жить... Честное слово! Да вот, смотри на меня: сапоги у меня — «голые», шинель самого галантерейного сукна: под дождем мокнет, на солнце сохнет, в грязи замарается — и опять обновляется. И притом же человеком сделали. Обтесали немного, да так, что дай бог всех, только не каждого так тесали. Да, да, бабушка. Ну вот, тебе врешь, а ты не веришь. Верно, верно. А то... Что я был до службы-то? Бык-быком!

— Как это, батюшка, бык-быком?

— А обыкновенным быком, бабушка, какие в стаде ходят.

— Ну? Так быком и был, солдатик?

— Настоящим быком!

— И на службе из тебя человека сделали?

— У-у-у, еще какого!

— Ха! Удивительно...

Задумалась старуха, про себя вспоминает...

— А что, солдатик, нельзя ли из нашего «Бынюшки» солдата сделать, а? А то: детей у нас нет, сироты мы; а сделали бы из «Бынюшки» человека, сынка нам, он бы нас поил, кормил да на старости покоил...

— А сколько «Бынюшке» годков, бабушка?

— Годков-то? А второй годок, солдатик. С Се-  
меона-зимнего второй годок пошел нашему «Бы-  
нюшке». Выйдет, что ли, из него солдат-то?

— Выйдет! Сделать это—проще пареной репы...

— Как?

— Да проще репы. Напишу я своему началь-  
ству рапорт, вы отведете «Бынюшку» в город, а  
через три года—получайте солдата, а может, и  
офицера.

Обрадовались старики. Старуха угостила солда-  
та пирогом с морковью, старик—водкой, и пошли  
глядеть «Бынюшку».

Стоит в конюшне «Бынюшка»—бык-быком и мы-  
чит по-бычьи. Не чует, что из него солдата соби-  
раются делать.

Осмотрели «Бынюшку», потолковали. Солдат на-  
писал своему бывшему фельдфебелю письмо с из-  
ложением всего дела и с просьбой принять «Бы-  
нюшку» на службу. А на утро ушел домой, а ста-  
рик со старухой закупоросили «Бынюшку» на ве-  
ревку и повели его в город. Нашли там казарму,  
отыскивали фельдфебеля и отдали ему солдатово  
письмо. Тот прочитал, сообразил в чем дело и  
отдал распоряжение отправить на первых порах  
«Бынюшку» на кухню, а старикам дал расписку  
и велел приходить через три года за сыном-сол-  
датом.

И вот ровно через три года являются старики к  
воротам казармы и спрашивают дневального про  
своего сыночка.

— А в какой он роте, как его фамилия?

— Не знаем, служивый, не знаем, где. Дома-то  
мы его «Бынюшкой» звали, а сейчас, наверное,  
как-нибудь по-солдатски прозывается.

Дневальный, желая помочь старикам отыскать



их сына, начинает перебирать подходящие фамилии:

— Быков?

— Нет.

— Бычков? Вычихин? Выченко?

Старики не знают, на какой фамилии остановиться. Тогда дневальный спрашивает:

— А в каком он у вас чине?

Получив ответ, что «Бынюшка» теперь наверное уже в начальниках ходит, так как дома он был теленок хитрый, понятливый, только немного бестолковый, — дневальный направил наших стариков к офицеру Вынееву.

Приходят старики, стучат в дверь:

— Сынок, отопри-ка...

А офицер Вынеев в это время был под «мухой». Вышел на стук и слова сказать не может, только мычит:

— Мы-мы-мы-ы! Кто-о-о там-м-а-а-а?

Старуха обрадовалась, шепчет старику:

— Он, отец, он! Слышь, мычанье-то его... «Бынюшка» мой...

Офицер смотрит — старики какие-то стоят.

— Что надо, сиволаны?

Вот тут-то старуху и прорвало...

— Ах ты, сукин сын! — говорит она офицеру. — Родителей своих не признаешь! Да я тебя, да мы тебя... Чорт драный! В деревне-то бык-быком был и мычал по-бычьи, а теперь ахфицером стал так и отца-мать не признаешь!

Офицер не поймет — в чем дело. Мычит только:

— Эм-му-у! Па-а-звольте...

— Я тебе позволю! — кричит старуха. — Соберись, сукин сын, домой, да живо! Мы тебя, да я тебя... Ятапом потребуем, через полицию! При-

едешь домой, наденем лапти, в пастухи отдадим, коли так, все кусок хлеба заработаешь!

Долго ругалась старуха. И напрасно. Офицер велел своему денщику прогнать стариков в три шеи и не подпускать их к его квартире на пушечный выстрел.

Погоревали старик со старухой, пожаловались:

— Вот такая скотина наш «Бынюшка», когда был бык-быком, ничего, а сделали из него офицера, так он и отца с матерью признавать не хочет. Скотина!»

Андрюшка рассказывает, солдаты хохочут, им весело... А посреди двора, на небольшом возвышении, стоит Ахмет. На нем полная нагрузка: винтовка, ранец с песком, скатка шинели, котелок, патронташ. Вес этой нагрузки — семьдесят два фунта, около двух пудов. Тяжело. Ахмет устал. Винтовка в его руках, взятая на-караул, качается, ранец с песком перетягивает назад. Но Ахмет стоит как свеча, ему даже нельзя пошевелиться: сделай он хоть малейшее движение, и ему опять влепят два-три внеочередных наряда и заставят опять стоять под винтовкой, чистить уборные или картошку, колоть дрова...

Вечереет. На двор казармы спускаются сумерки. Из кухни входит дежурный и начинает звонить в небольшой караульный колокол:

— На ужин!

Забыто все: и «Бынюшка», и сказка. Мы бежим за котелками, становимся длинной цепью в очередь, получаем котелок супа, блюдо «грешной» каши, вынимаем из-за голенищ сапогов деревянные ложки и идем ужинать.



После ужина — переключка. Еще прожевывая ку-  
сочки хлеба и остатки каши, становимся в строй.

Потом встаем на молитву.

Один день службы прошел. Усталые, измучен-  
ные и полуголодные, мы расходимся по «пала-  
там», залезаем на нары и, подложив под головы  
руки, лежим так, думая каждый о своем.

Десять часов вечера. Тушат свет. Тихо. Темно.  
С нар несется тяжелое дыхание двух с половиной  
сотен людей. Солдаты спят.

18

Однажды в воскресенье, в первый раз за всю  
службу, дали нам увольнительные записки и мы  
отправились гулять. Нам хотелось посмотреть  
город, отдохнуть, полюбоваться с «венца» Волгой,  
подышать свежим, не казарменным воздухом.

Хорошо в Симбирске, особенно вечерами.

Внизу, под горой, медленно и плавно катит свои  
воды широкая Волга. Плынут по ней красавцы-  
пароходы, буксиры с баржами, тянутся плоты...  
По мосту прохочут поезда. В садах — народ, гу-  
лянье. Синеет в зареве заката левый, луговой бе-  
рег Волги. Тонут в завожских просторах леса,  
деревушки...

Да, хорошо в Симбирске вечерами! Только не  
солдату царской армии...

Собрались мы, пошли. И покаялись. И не муд-  
рено. На каждой улице, на каждом углу нас, сол-  
дат, ожидала беда.

Вечерами щегольские офицеры со звоном шпор,  
с бряцанием шашек, целыми толпами ходили по  
улицам, и нам почти-что на каждом шагу прихо-  
дилось «козырять» и отдавать честь.

— Тьфу ты, чорт! — плянул Шарагин. — Айда-те хоть на другую улицу, может — веселее будет. А тут, того и гляди, наряд за что-нибудь получишь!

Ушли на другую улицу. Здесь народу нет, скучно. Поругались, вернулись к городскому саду.

— О! Вот где веселье-то, ребята!

В саду было гулянье. Играла духовая музыка. Мелькали в ситцевых платьях симбирские «зазнобы». Было так хорошо, красиво и приятно, что наши ноги сами собой направились в сад.

Подшли к калитке. В это время мимо нас проходили какие-то дамы. Одна из них, высокая, пышногрудая, говорила своей подруге:

— Знаете, в наш садик теперь нельзя даже войти.

— Почему?

— Ах, почему! Там теперь такая публика, такая публика... Одна солдатня с кухарками да с горняшками.

— Да, да, ужас что творится! Везде одни солдаты... Я не дожусь, когда их угонят на войну!

Дамы прошли в сад. Егор Бураков смотрит им вслед и качает головой:

— Ну, неужели это, ребята, не озорство, а? Хуже собак нашего брата считают... Да что мы — не люди, что ли?

И разом отпала охота и к гулянью и к отдыху. Вместо сада пошли на окраину Симбирска, достали там у одной шинкарки водки и отправились на берег Волги.

Выпили. Немного захмелели. А у пьяных — разговоры пошли.

— Ну и жизнь, ребята, — говорит Шарагин. — В казарме перед всякой сволочью трясись, и на воле хуже собак считают... Все равно это не



жизнь. Тюрьма — так тюрьма! Кому она — яма, а нашему брату — родная мама!

— Эка ты храбрый какой!

— Да уж не как ты, рохля...

— А ты покажи храбрость, чем хвалиться-то. Это лучше будет.

— О-о-о! У меня — не вожжой тряхнет! Только вот чего, — не выйдет в одиночку эта штучка. Вот если бы вы помогли, всей компанией бы взяться, тогда бы это дело — как на якорь посадить было можно!

— Какое дело?

— Дело? Тальянить надо, ребята!

— Как — тальянить?

— А очень просто. Нам, скажем, пищу плохую дают — не есть ее, на стрельбища погонят — знай валяй во белый свет, а не в мишени.

— А нас за это...

— Ничего не будет! Сначала мы, потом — другие; а там весь полк, вся армия начнет...

...Ночью у нас было «тайное» собрание. Поговорив и посоветовавшись с остальными солдатами нашей роты, мы решили начать свою «тальянку» с фельдфебеля Пахомова.

В этот день шел дождь. Вместо строевых занятий нам преподнесли «теорию» военного дела: заставили чистить винтовки и пулеметы. Сидим, чистим. Пахомов тут же. Он ходит по «палате», глядит на нашу работу и кое-кому задает вопросы.

Остановился около Шарагина. Тот в это время наматывал на шомпол паклю, чтобы прочистить и смазать ствол винтовки.

— Шарагин, скажи мне: для чего существует шомпол?

С невозмутимым видом Андриюшка встал со своего места и, сдерживая улыбку, ответил:

— Шомпол существует для того, чтобы прочищать вот эту дыру.

— Чего, чего?

— Прочищать дыру.

И Шарагин ткнул пальцем в дуло винтовки.

— Ты чего это, серьезно?

— Так точно, господин обучающий!

Пахомов не понимал наших намерений и за каждый «номер» нашей «тальянки» наказывал нас беспощадно. Почти каждый день кто-нибудь из нас обязательно получал наряд или какое-нибудь взыскание. Были дни, когда мы всей «компанией» стояли под винтовками, ходили вне очереди в караулах или чистили уборные.

Однажды ночью нас поодиночке и целыми партиями арестовали и под конвоем отправили на гауптвахту. Так кончилась наша знаменитая «тальянка», наше «пассивное» сопротивление начальству, службе и солдатской жизни.

## 19

Сидим на «губе». Темно. Холодно. На окнах — решетки, в нарах клопы, на дверях замок, около дверей — часовые...

Кроме нас, в камере сидел сапер Максим Громанюк.

Вот уже вторую неделю Громанюк сидит под арестом, за что — неизвестно.

Когда мы пришли, Громанюк лежал на нарах и читал какую-то книжку. Увидя нас, встал, поздоровался:

— А-а, милости прошу, ребята!



— Здравствуй! За что сидишь?

— А вы за что?

Андрюшка рассказал ему о нашей «тальянке». Громанюк выслушал его и засмеялся:

— Протестовали, значит? Эх вы, дураки! Право, дураки. Да разве это протест? Это — игрушки. Уж если протестовать, то не так надо!

— А как? А ты откуда знаешь?

— Э-э, откуда... Вы еще жизни не нюхали, ребята!

— А ты, поди, нюхал?

Громанюк промолчал. Но, видимо, он «нюхал» жизнь лучше нас. Об этом свидетельствовала его биография.

...В далекой Сибири, за широкой рекой Иртышем, в Томской тайге есть Яльцовские хутора.

Человека здесь встретишь редко. Место глухое. Суровые зимы. Злые морозы. Снега. Бурелом и медведи. Тайга. Гиблое место...

Сюда, в 1905 году, был сослан кузнец Луганского паровозостроительного завода Данила Громанюк.

Это был высокий, широкоплечий человек, с громадными руками, сплошь покрытыми жесткими мозолями. Казалось, что от тяжести этих рук и согнулась его могучая спина.

Вид он имел суровый, — произносил в день не больше двадцати самых необходимых слов, — и становилось понятным, почему соседи по хутору думали, что Данила Громанюк был сослан в Сибирь за разбой или убийство, и, по правде сказать, на первых порах побаивались его и сторонились.

Но Данила не обращал на соседей никакого вни-

мания. Корчуя в тайге пеньки и попыхивая своей «люлькой», только говорил:

— А, нехай их... Та ж воны не знают, який я чоловик...

Человек Данила Громанюк был хороший, простой. И сослали его не за разбой, не за убийство, а за другое. В 1905 году, когда широкая волна забастовок прокатилась по России, забастовал и завод, на котором работал Данила.

В политике Данила разбирался плохо. Но заодно с рабочими потушил горно.

На завод пригнали полицию, казаков. Данила Громанюк был взят на месте преступления: он стоял около дверей своей «кузни», когда к нему подскочил какой-то казачишка и ударил его нагайкой.

— Бунтовать, гад, надумал?

Данила только поежился. Потом вынул изо рта трубку, положил ее в карман и, по-своему, одним ударом свалил казака на землю.

— Вот тоби, бисов сын!

Казак бросился на кузнеца с шашкой, но Данила вырвал шашку, схватил казака за шиворот, приподнял его на аршин от земли и треснул об железо.

Казак остался лежать на земле, а Данила, воткнув в угол рта трубочку, пошел в кузницу. Но уйти не удалось. Данила Громанюк оказался на Яльцовских хуторах как политический ссыльный.

В Сибирь Данило приехал не один. С ним была его жена Маринка—высокая, под стать мужу, но худая, преждевременно состарившаяся женщина, которая когда-то, в девках еще, сводила с ума своей красотой парней рабочей слободки.

Вместе с женой Данила привез сына, Максима.



Первое время маленький Громанюк тосковал по Украине. Плакал. Просился домой. Но потом подрос, привык и стал любимым коноводом хуторских ребят.

Старый Данила достал своему сыну дробовик, и Максим очень скоро заделался страстным охотником: целые дни пропадал в тайге и бил из своего дробовика белок не хуже старых сибиряков.

На охоте он познакомился с Семеном Долгополовым. Семен Долгополов состоял членом партии большевиков. Был привлечен к суду, приговорен к каторге и ссылке. Очутившись на «воле», любил он побродить с ружьем по тайге. Любил, разведя жарник, попить чайку и почитать где-нибудь на тихой полянке.

Вот у такого же жарничка весной и наткнулась на Долгополова ватага мальчишек во главе с Максимом Громанюком.

Ребята долго глядели на Долгополова, перешоптывались:

— Кто это, ребята?

— Это — каторжник, Долгополов...

Страшно стало ребятам, хотели убежать. Но «каторжник» увидел их и улыбнулся:

— А-а, ребятки! Идите чай пить. С сахаром...

Что делать? И трусили, и чаю хотелось...

— Айда, ребята, — сказал Максим. — Чего бояться-то? Бить, что ли, станет? Так он один, а нас много...

Подождали, поздоровались, сели. Долгополов положил на траву книжку, спросил об охоте: удачна ли — и угостил ребят чаем.

Ребята пили, рассказывали об охоте, а Максим с завистью глядел на лежащую книгу и что-то хотел спросить. Наконец не вытерпел, спросил:

— Дяденька, а не написано ли в этой книге про одну вещь?

— Про какую?

— А вот: почему ночью темно, а днем светло. И еще: куда уходит солнышко, и почему оно летом горячее, а зимой холодное.

Долгополов улыбнулся и начал рассказывать о солнце, о зиме и лете, о движении земли...

Юные сибиряки плохо понимали «каторжника», но слушали его, разиня рот. А после беседы, когда ребята возвращались домой, Максим Громанюк размахивал полученной от Долгополова книгой и восторженно говорил:

— Вот это — старик! Вот это — дедушка Семен!

Через неделю жадно прочитанная книга была аккуратно возвращена обратно. Взамен ее Максим Громанюк получил от Долгополова другую. Так познакомились. Подружились. И суровый «каторжник», как сына, полюбил бойкого, жадного до живого слова Максима Громанюка.

Перед Максимом раскрылась новая жизнь. Он узнал, за что его отец попал в Сибирь.

Почти всю ночь рассказывал нам Громанюк о себе, о жизни. Говорил интересно, смешно. Но нам было уже не до смеха. Громанюк дал совет:

— Знаете что, ребята. Будут судить, на суде много не говорите, не оправдывайтесь, а в три голоса ревите, проситесь на фронт. Да, да, проситесь — добровольцами. Иначе — Сибирь, ребята!

До Сибири дело не дошло.

Только что получен приказ о выступлении нашего полка на фронт. А поэтому наша тальянка остается без последствий.